

Д.Н. МАМИН
СИБИРЯК

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Морок (Сибирские рассказы)



МАМИН, Дмитрий Наркисович, псевдоним — Д. Сибиряк (известен как Д. Н. Мамин-Сибиряк) (25.X(6.XI).1852, Висимо-Шайтанский завод Верхотурского у. Пермской губ.- 2(15).XI.1912, Петербург) — прозаик, драматург. Родился в семье заводского священника. С 1866 по 1868 г. учился в Екатеринбургском духовном училище, а затем до 1872 г. в Пермской духовной семинарии. В 1872 г. М. едет в Петербург, где поступает на ветеринарное отделение Медико-хирургической академии. В поисках заработка он с 1874 г. ста-

новится репортером, поставляя в газеты отчеты о заседаниях научных обществ, В 1876 г., не кончив курса в академии, М. поступает на юридический факультет Петербургского университета, но через год из-за болезни вынужден вернуться на Урал, где он живет, по большей части в Екатеринбурге, до 1891 г., зарабатывая частными уроками и литературным трудом. В 1891 г. М. переезжает в Петербург. Здесь, а также в Царском Селе под Петербургом он прожил до самой смерти.

Содержание

I.....	.0006
II.....	.0011
III.....	.0020
IV.....	.0025
V.....	.0033

Д.Н. Мамин-Сибиряк
Морок
Очерк

Зачем Никешка подымался ни свет ни заря, на Чумляцком заводе этого никто не мог сказать. А он все-таки вставал до свистка на фабрике, точно службу служил. Подымется на самом «брезгу», высунет свою лохматую голову в окно и глазает на улицу, как сыч. Добрые люди на работу идут, а Никешка в окно глядит и не пропустит мимо ни одного человека, чтобы не обругать. Особенно доставалось от него соседям — старику Миرونу и дозорному Евграфу Ковшову. Мирон жил рядом, а Ковшов — напротив.

— Пропasti на тебя нет, Никешка! — говорил Мирон при каждой встрече и укоризненно качал головой. — Погляди-ка, ведь седой волос занялся у тебя в бороде, а ты все не в людях человек. Хошь бы уж помер, право...

— Сперва погляжу, как вы все передохнете, — отвечал Никешка с обычной дерзостью. — Получше других человек завелся, так вам бы в ноги ему кланяться... так я говорю? Вот ты, Мирон, за дочерями-то гляди в оба, чтобы прибыли какой не вышло.

— Никешка!..

— Я давно Никешка.

— Тьфу!.. Собака и есть собака.

Старый Мирон, благочестиво отплевавшись, поскорее убирался в свою пятистенную избу. Ему было всего пятьдесят лет, но на вид — старик стариком. Сказалась тяжелая огненная работа, на которой человек точно выгорает. Давно ли Мирон жил паном, дом был полная чаша, а потом разнемогся, и все богатство сплыло. Правда, осталась старуха-жена да три дочери, и только. Были два сына, поженились и ушли своим домом жить. Таких «стариков до времени» в Чумляцком заводе было много, и везде повторялась одна и та же история.

Другой сосед Никешки, дозорный Ковшов, жил крепко и богател тугим мужицким богатством. Попав в заводское начальство, он не забывал себя: поправил домишко, обзавелся скотиной, купил ведерный самовар и быстро начал толстеть. Одним словом, человек попал на легкий хлеб и жил в свое удовольствие. Благополучие Ковшова отравлялось только соседством Никешки, который не давал ему

проходу. Чтобы не встречаться со своим врагом, Ковшов уходил иногда на фабрику огородами, точно вор. Но все равно никакая политика не могла спасти его от Никешки. Идет Ковшов с фабрики с правилом в руке и старается не замечать своего соседа, но Никешка уже орет на всю улицу:

— Еграфу Палычу сорок одно с кисточкой... Эх, сосед, айда ко мне в помощники: я ничего не делаю, а ты помогать мне будешь!

Сохранить свое достоинство при таких обстоятельствах довольно трудно, и Ковшов должен был ругаться.

— Острог-то давно о тебе плачет, Никешка... Мотри, не ошибись: только даром время проводишь в своей избушке.

— А, вы Еграф Палыч, слава богу, мучки аржаной возик купили... — не унимался Никешка. — Где господь железка пошлет, где бревешко подвезут даром, где что, а хорошему человеку все на пользу... Вот как хорошие-то люди живут: у скотинки хвост трубой, в сундуках добро не проворотишь, а беднота кланяется Еграфу Палычу, потому как он сам перед начальством хвостом лют вилять. Так я

говору? Собаки чужие не лают на Еграфа Палыча... Дым у него из трубы столбом идет...

— Тьфу, окаянная душа!..

Все, что делалось в доме Ковшова, Никешка знал лучше, чем свои собственные дела, и оповещал всю улицу. Еграф Палыч жене палевый платок купил, а себе завел сапоги со скрипом; у Еграфа Палыча сено само на сарай приехало; Еграф Палыч лошадку новую собирается купить, потому что старым лошадям делать нечего, и т. д., и т. д. Выведенный из всякого терпения, Ковшов несколько раз хлопотал, чтобы общество выключило Никешку из своего состава; но эти подходы не удавались. Даже выставленное волостным старичкам вино не помогало: выдерут Никешку, и только. Секрет заключался в том, что Никешка был отличный конский пастух и ни одну лошадь не даст украсть.

Так и жил Никешка в своей проваленной избушке, покосившейся на один бок. Делать запасы дров он не имел привычки и помаленьку топил печь разным домашним строением: сначала сжег амбар, потом баню, прясла и даже ворота, а теперь принялся за кры-

шу — стащит драницу и в огонь. Жил он бо-
былем, и единственную живность в его хозяй-
стве составляла сивая кривая кобыла. И ско-
тина была по хозяину: зиму и лето жила под
открытым небом, а питалась чем бог пошлет.
Была у Никешки жена, было хозяйство, но все
это ушло при ближайшем участии закадыч-
ного приятеля Никешки, кабатчика Пимки,
который не только перевел за себя все, что
можно было взять у Никешки, но по пути за-
хватил и его жену — Маланью. Когда друзья
напивались, они начинали колотить несчаст-
ную бабу вдвоем.

На заводе Никешка известен был под име-
нем Морока, и это прозвище он носил не без
достоинства. Только соседи называли его про-
сто Никешкой.

Ласковое апрельское солнце едва занималось, а Никешка уже сидел у своего окна и глядел на улицу. Уральская весна поздняя, и, несмотря на последние числа апреля, кое-где еще лежали кучки почерневшего и точно источенного червями снега. Весенняя грязь за ночь покрылась тонким слоем льда, который хрустел и ломался под копытами лошадей, как стекло. Накопившаяся за зиму дрянь, которую чумляцкие обыватели выкидывали за неимением помойных ям прямо на улицу, теперь точно вылезла из земли и задерживала таяние последнего снега. Никешка смотрел вдоль улицы на новую крышу новой избы Ковшова и любовался собственной кобылой, которая не без ловкости подбирала отвислыми старыми губами клочки гнилого сена, валявшиеся на улице.

— И тварь только: чем, подумаешь, жива? — удивлялся Никешка добычливости своего единственного живота. — Не хочет помирать, подлая... брюхо-то, видно, не зеркало!

Пригретый весенним солнышком, Никеш-

ка задумался о лете. Вот пройдет с гор вода, и везде-то займется трава. Поведут тогда все лошадей в пасево, выедет он, Никешка, на своей кобыле, как следует пастуху, — лето-то и пройдет шутя. Кобыла всегда успевала отъедаться к осени, хотя и летом Никешка не считал нужным ее кормить: сама должна себе пропитал добывать, на то она и кобыла. Деньгами да кормом скотины тоже не укупишь, как делает Ковшов и другие толстосумы.

А солнышко так и греет, так и греет... Смертная лень одолела Никешку: высунул башку в окно и сидит. Скоро вот на фабрике свисток завоет, народ побежит на работу... Дураки!.. А Никешка будет сидеть да поглядывать. Когда надоест сидеть, пойдет к Пимке, — не подвернется ли какой хороший человек. Никешке тоже иногда переппадают даровые стаканчики водки: загуляет человек, что ему стоит угостить. Бывает, что и Никешка пригожается... Худ-худ, а без него тоже дело не обходится.

Задымили печи у проворных хозяек, поднялся медленный шум закипавшего дня, на-

пахнуло крепким весенним ветерком. Никешка зажмурился от удовольствия, а его широкое, бородатое лицо с заплывшими глазками даже покрылось маслом. Кобыла, набившая себе брюхо разной дрянью, тоже дремала на солнышке, и Никешка еще раз подумал: «Ишь, подлая тварь, чувствует». А свисток уж скоро. Никешку позывает на сон. Голова свешивается, как отшибленная, и солнце греет теперь только самую макушку с поредевшими темными волосами.

— Никешка... Морок!..

— А?.. Что?.. Эх вас взяло!.. — мычит Никешка, стучаясь головой о верхний косяк окна. — Ну?..

— Недавно ослеп: без очков-то не видишь?.. — повторяет тот же сердитый голос.

— Что глядеть-то?.. Ишь расшеперился: не велик в перьях-то!

— А ты не корачься, Морок... Добром тебе говорят: куда дел сапоги? Где ты вечер-то был, окаянная душа?.. Окромя тебя, некому украсть сапогов...

Никешка несколько время молчал, как человек, удрученный сознанием, что действи-

тельно, кроме него, некому украсть сапогов. Да и староста налицо, и понятые, и Егранька Ковшов выбежал на улицу в одной рубахе, счастливый чужим безвременьем.

— Какие сапоги? — удивляется Никешка точно про себя.

— А вот мы тебе, Мороку, покажем, какие!..

— Он, он украл!.. Верно... — кричал Ковшов, размахивая руками. — Да вы чего с ним разговариваете? Айда, волокни прямо в волюсть!

Происходит некоторое колебание. Нужно все по форме сделать: может, не найдется ли личное? Мужики идут прямо в избу. Никешка встречает их спокойно и даже не поднялся с лавки.

— Обыскивай, а то я и сам ничего не найду, — подсмеивается он.

— Не заговаривай зубов-то, — ругается староста, заглядывая на пустые полати. — И чем живет человек?.. А сапоги все-таки ты, Морок, упер!..

— Поищите, может, двое найдете.

Обыск кончается в несколько минут: кроме ременного пастушьего хлыста, в избе ни-

чего не оказалось, — все свои богатства Никешка носил на своих плечах.

— Айда в волость! — кричал в окно Ковшов: в избу он не смел войти. — Наверно, у Пимки в кабаке сапоги, потому, кроме Никешки, некому... Известный заворуй!.. Из кабака не выходит...

— Отвяжись, судорога! — ворчал Никешка, подпоясывая свой рваный полушубок. — Посоли лучше свой-то самовар да ступай чай пить. Ну, староста, не то пойдем в волость...

— И то пойдем... — равнодушно соглашается староста, быстро израсходовавший весь свой административный пыл.

На улице уже столпилась куча любопытных. Все желают посмотреть, как поведут Морока в волость. В толпе баб главным действующим лицом является чахоточный синельщик Илья, который в таких случаях незаменим: кричит, машет руками и бросается в разные стороны, как бешеный. Горбун Калина, единственный «чеботарь» в Чумляках, молча стоит со старым Мироном. Появление Морока произвело известное впечатление на толпу: он выше всех ростом и с такою уверенностью

шагает по самой середине улицы.

— Мы тебе, милаш, по-ок-кажем, какие сапоги бывают! — повторяет староста, не желающий дискредитировать свою власть на людях.

— Горячих ему!.. Горячих!.. — орет вдогонку Ковшов.

Процессия торжественно идет вперед, потом спускается к заводскому пруду и делает легкую остановку у кабака Пимки. Заведение пристроилось как раз на самом юру, так что и в фабрику, и в церковь, и на базар народ идет мимо. Пимка выскакивает в простой кумачной рубахе.

— Подавай сапоги! — кричит ему староста еще издали. — Окромья тебя, негде им быть.

— Да я... а-ах, божже мой! Да вот провалиться... да будь я трою проклят, ежели касательство какое! — клянется Пимка, пойманный врасплох. — Да мало ли ко мне народу всякого шатается?

— Сапоги!

Пимка ментально исчезает, и в ответ на приказание старосты из кабака летят искомые сапоги. Староста медленно поднимает их

с земли, оглядывает и утвердительно кивает головой: «Они самые, в настоящую точку, как показывала Дунька Ковригина»... Сапоги приобщаются к делу, и процессия продолжает свое шествие.

Окруженный понятыми, Никешка идет своим развалистым шагом и старается не смотреть на встречных. На повороте в гору нагоняет эту толпу мужиков веселая гурьба заводских поденщиц, которые торопятся поспеть до свистка; Никешка инстинктивно оглядывается, и один этот взгляд останавливает говорливую поденщицу.

— Ты чего уперся, столб? — ругается староста и начинает толкать Никешку в спину краденными сапогами. — Вот они, сапоги-то! погоди, мы тебе покажем...

Но Никешка продолжает стоять на месте и старается разглядеть молодое девичье лицо, которое прячется в толпе поденщиц.

— Да ведь это Даренка... — вслух удивляется он, занятый своими личными соображениями. — Последняя у Мирона девка ахнула... а?..

Ответа нет. Из толпы поденщиц выступает

только отпетая солдатка Матрена, старшая дочь Мирона, и вызывающе смотрит на заворуя-Морока.

— Ступай, ступай! — кричит староста, упираясь в спину Никешки обеими руками. — Эко дерево, подумаешь...

— Хошь бы ботинки украл да мне подарил, — смеется Матрена, подступая ближе.

— Куда ты Даренку-то ведешь, отпетая? — как-то глухо спрашивает ее Никешка.

— Никто ее не ведет: своей волей пошла. А тебе какая печаль сделалась?

Все поденщицы одеты бедно, но с тем шиком, как одеваются на заводах. Поношенные ситцевые сарафаны подтыканы, чтобы показать юбки с пестрыми подзорами; на головах большею частью кумачные платки. Матрена всех наряднее и смотрит кругом потерявшими всякий стыд глазами. Младшая ее сестра, Дарья, вышла еще в первый раз на поденную работу и одета совсем бедно. Она напрасно старается спрятаться в толпе от испытующего взгляда Никешки. Подруги ее подталкивают. Никешка быстро повернулся и сосредоточенно зашагал в гору к волости. Загудел свисток

на фабрике — и толпа поденщиц бросилась
врассыпную.

Волости с Мороком происходила всегда одна и та же история: волостные старички для формы устраивали короткий суд и немедленно пороли виноватого. Так было и теперь. Никешка не оправдывался, не сопротивлялся, не роптал, а принимал все как должное. Когда экзекуция кончилась, он привел в порядок свой костюм и сам отправился в холодную, где обыкновенно отдыхал до следующего дня, как было заведено давно. В результате все оставались довольны.

— Черти, право, черти! — ворчал Никешка, не обращаясь ни к кому в отдельности. — Скоро коней выгонять, так я вам покажу... Эка важность: сапоги! Тоже нашли...

В Чумляцком заводе Никешка играл оригинальную роль единственного вора, и при всякой пропаже отправлялись к нему, потому что больше некому украсть. Если приходили вовремя и находили поличное, как в данном случае, он покорялся беспрекословно. Если удобный момент был пропущен и краденое при посредстве кабатчика Пимки уплывало в

неведомые бездны, Никешка запирался, начинал ругаться и буяннить; но его все-таки пороли и держали на высидке больше обыкновенного. Единственный вор на весь завод, — значит, чего с ним толковать. Случались серьезные дела, как увод лошади, тогда Никешку предварительно колотили, долго и больно колотили, а потом пороли и сажали «в карц». Эти шалости обыкновенно совпадали с зимним глухим временем, когда у Никешки не оставалось никаких ресурсов для существования, кроме сивой кобылы, которую он обыкновенно менял на цыганский манер с придачей. Но к весне, когда нужно было выгонять лошадей в пасево, кобыла непременно являлась в руках Никешки, и он гарцевал на ней с пастушьей ухваткой. Эта кобыла заслуживает внимания не меньше хозяина. Она не давалась в запряжку, а если ее все-таки запрягали, падала в оглоблях; на себя она тоже никого не пускала, — била задними ногами, кусалась и в заключение опять падала. Справлялся с ней один Никешка. И теперь, засаженный в холодную, он думал о своей кобыле, которая осталась без всякого призора. Положим, она

никуда не девается, но все-таки было жаль.

Итак, Никешка лежит в холодной и сосредоточенно молчит. Сначала он думал о своей кобыле, а потом припомнил солдатку Матрону, и точно что его кольнуло в самое сердце. Зачем Даренка пряталась от него давеча?.. На погибель вела ее солдатка: уж какая девка, ежели в поденщину попала — вся чужая. Плохо, видно, Мирону приходится, ежели он последней дочери не пожалел.

«Сплоховал старик, — думает Никешка, закрывая глаза. — Надо бы повременить: может, какой бы жених выискался на Даренку».

К фабрике у Никешки было какое-то органическое отвращение. В крепостное время, когда насильно гнали народ на огненную работу, он один отбился от фабрики, несмотря на то, что его и пороли, и морили высидкой, и сдавали в солдаты, — ничего не помогало. Заводское начальство махнуло на него рукой, как на отпетую голову. Каково же было удивление этого начальства, когда после воли первым на фабрику явился Никешка! Он точно переродился и проработал лет пять как следует. Появился у Никешки свой домишко, хо-

зьяйство, и в заключение он женился. Все шло хорошо. Но когда на фабрике поставили первую паровую машину, Никешка точно сдурел: явился к управителю и заявил, что больше работать не будет.

— Почему? — удивился управитель.

— А так... Что же, собака я, что ли, что буду вам по свистку на работу выходить?

— Да ты с ума сошел...

— Все равно толку не будет...

— От свистка?

— От его от самого...

Как сказал Никешка, так и сделал: не хочу, и все тут. Паровой свисток действительно нагонял на него какую-то тоску и озлобление. Каждое утро Никешка ждал того момента, когда загудит его враг.

— О, чтобы тебе подавиться! — ругался он, посиживая у окна.

Даже в пасеве, верст за пятнадцать от завода, Никешка не мог избавиться от проклятой немецкой выдумки: свисток все-таки гудел, далеко-далеко гудел, точно под землей.

Нажитое добро было прожито с поразительной быстротой, и Никешка окончательно

попал на свою линию единственного вора. Жена Маланья ушла жить к кабатчику Пимке, а Никешка остался со своей сивой кобылой и все сидел у окошечка. В его душе сформировалось непоколебимое убеждение, что от заводской работы никакого толка не будет, — а лошадей пасти можно было только летом. Подтверждением его первой мысли была та же история семьи Мирона: вот человек работал, выбивался из сил, а под старость все-таки пошел по миру. Другое дело Егранька Ковшов: он такой же заворуй, как и Никешка, только ворует с поклоном. Таким образом, все зло заводского существования для Никешки сосредоточилось в паровом свистке, и он не хотел ничего знать. И Даренку он пожалел потому же: под свисток пошла — пиши пропало. Уж если мужику пропасть, то девке — вдвое.

IV

Наступило лето, а следовательно, Морок Гарцевал на своей сивой кобыле, помахивая длинным пастушьим хлыстом. Все зимние грехи точно растаяли вместе со снегом, и Никешка не спал ночей, оберегая общественное добро. Конское пасево было отведено «с незапамятных времен» в двадцати верстах от Чумляцкого завода, на так называемой Елани, старом, заброшенном курене, примыкавшем к реке Чусовой. Это было глухое медвежье место, по которому целое лето бродил заводский табун, лошадей в тысячу. Летом конных работ на заводе не было, и лошади отдыхали в пасеве. Десять человек пастухов с Мороком во главе отвечали за каждую голову, если не представят меченных тавром копыт. Пастушье дело — самое проклятое, особенно, когда лошадь отобьется от своего табуна и уйдет в горы: извольте ее искать на расстоянии сотни квадратных верст. Места кругом были дикие, и только кой-где засели глухие лесные деревушки. Все лето пастухи перебивались в балаганах, а Никешка почти не слезал со сво-

ей кобылы, потому что на его обязанности было отыскивать отбившихся от табуна лошадей. Благодаря знанию местности и многолетним связям с конокрадами всей округи он выполнял свою роль из года в год, как мы уже говорили, блистательно.

Нынешнее лето проходило обычным порядком, хотя сам Морок, видимо, скучал и заметно тяготился своей собачьей службой.

— Черт на нем едет, что ли? — удивлялись пастухи. — От хлеба отбился человек.

— Стар стал: кости болят... — уклончиво объяснил Морок. — Тоже бьют-бьют человека, а к ненастью поясницу ломит во как.

Дело было не в пояснице. Морок обманывал самого себя. Он все думал о Даренке. Втемяшилась ему в башку эта девка и не выходит. Стороной он уже слышал, что на фабрике Даренка «защеголяла»: явились козловые ботинки, кумачный платок, ситцевые «подзоры» на юбках, стеклянные бусы на шее, а автором этих неотразимых для каждой поденщицы соблазнов называли заводского машиниста Мухачка. Вся фабрика галдела на эту тему недели две и не давала проходу Даренке,

хотя дело это было самое обыкновенное: вся бабья поденщина с солдаткой Матреной во главе — на одну руку. Может быть, из всех заводских один Морок пожалел пропавшую ни за грош девку.

В своих разъездах по заводской даче Морок не один раз завертывал на покос к Мирону. От Елани это было рукой подать. Тут же были покосы синельщика Ильи, чеботаря Калины, — тоже единственные люди в Чумляцком заводе, как был единственный вор — Никешка. Лучший покос, конечно, принадлежал здесь Еграньке Ковшову, и Морок делал нарочно десять верст лишних, чтобы поругаться с ним.

Страда на заводах — самое лучшее время: весь народ в поле, и работа кипит. По ночам весело горели огни у покосных избушек, и по всем покосам катились веселые песни. Старики, конечно, рады были месту, а веселилась неутомонная молодежь: день-деньской с косой, а вечером — гулянка. Когда-то такое же веселье было и на покосе Мирона, но теперь не то. Настоящей рабочей силой являлся один старик Мирон, а остальные были все бабы:

старуха Арина, солдатка Матрена, Прасковья и Дарья. Отделенные сыновья работали в свою голову, а Мирон управлялся один. Бабы, конечно, работали, но известно, какая бабья работа: то, да не то. А тут еще солдатка Матрена куролесила: то одного приведет, то другого, да еще и сама пьяная напьется. Конечно, дивить на солдатку было нечего: непокрытая голова, и взять не с кого. Хуже было то, что и другие дочери своими дружками обзавелись. Один Мухачок чего стоил: приедет верхом и начнет куражиться, а худая-то слава далеко бежит. Старик Мирон все это видел, но молчал. Да и что он мог поделывать, когда сам посылал дочерей на фабрику: нужно пить, есть, одеться, а сам он какой работник? Покосит до обеда, а после обеда лежит в избушке, — натруженные кости ноют, спина болит, каждый сустав ломит. Девки хоть и гулящие, а проворные, и работа идет мало-мало. Вот только старуха Арина донимает своими причитаниями: у других и то, и другое, и десятое. Старый Мирон только вздохнет, — конечно, старухе обидно.

Раз, когда после обеда Мирон лежал в бала-

гане и раздумывал свои невеселые старые думы, кто-то подъехал верхом.

«Опять, видно, Мухачок», — подумал Мирон и притворился, что спит.

— Старичку! — послышался знакомый голос. — Жив, Мирон?

— Это ты, Илья?

— Около того...

Это был Никешка на своей сивой кобылке. Нагнувшись, он пролез в балаган и с трубкой сел на порог.

— А ведь я-то тебя за синельщика принял, — жалостливо заговорил старик. — По голосу смешал... ох-хо-хо!.. Другие-то робят, а я вот лежу...

— Все будем лежать... Ты свое обробил все, — философски заметил Морок. — Работы не проробишь, а тебе и заменитья кем помоложе пора.

— Да заменитья-то некем.

Мирон рад был живому человеку, которому мог пожаловаться на свою жизнь, все же суседи. Да и скрывать нечего было: весь завод был на слуху. Посидел Никешка, поговорил и уехал, а Мирон долго думал, зачем мог приез-

жать к нему Морок.

«Так, шальный», — решил про себя старик.

А Никешка приехал и во второй и в третий раз. Сначала закинул заделье: не видали ли пегой лошади? — а потом хлеба выпросил. Солдатка Матрена подняла было его на смех, но Мирон ее остановил.

— Худ он для себя, а не для нас... Оставь, зуда! Тоже суседи называемся...

Однажды, когда старик вышел из балагана посмотреть на работу, он даже остановился от изумления. Покос доканчивали, и оставалось пройти последнюю мочажинку. Солдатка косила в березняке, а мочажинка досталась Дарье. Теперь Мирон увидел такую картину: Даренка сидела на траве и перевязывала порезанную вчера ногу, около нее ходила по траве сивая кобыла, а в мочажинке работал Никешка. И как работал: только коса свистит... Старый Мирон залюбовался на эту настоящую мужицкую работу, а Никешка так и прет полосу за полосой. Могутный человек, одно слово.

— Вот бог работника послал, — вслух проговорил Мирон, подходя к дочери.

Никешка даже не оглянулся, а только поплевал на руки и еще сильнее ударил косить. Даренка смутилась и хотела взять у него косу.

— Пстой, дай кончить, — отозвался Никешка, не глядя на нее. — На себя не роблю, так хоть тебя заменю. Куда ты без ноги-то в осоку полезешь, дура?..

Пришла старая Арина и тоже полюбовалась на Никешкину работу. Старики даже вздохнули о собственных молодых годах, тогда у них работа горела в руках, а по пути вспомнили и про непокорных сыновей, работавших теперь на себя. А Никешка все косил, — расстегнул ворот рубахи, бросил шапку, снял сапоги.

— Ну, теперь прощайте! — сказал он, когда от мочажинки осталась одна зеленая щетина да валы свежей кошеницы.

— Куда ты, Никифор? — проговорил Мирон. — Оставался бы с нами поужинать.

— Нет, мне недосуг... Спасибо.

— Зачем свой-то покос людям сдаешь, Никифор? Вот бы и робил на себя... Глядишь, на зиму и с сеном.

— А для кого мне косить-то?.. Ну, прощай-

те!..

Никешка даже не взглянул на Даренку, сел на свою кобылу и уехал. Старики молча поглядели ему вслед и по обыкновению промолчали. Даренка тоже молчала: она боялась, что Морока видела Матрена. Загорелая, здоровая, Даренка была девка хоть куда, если бы не худая фабричная слава. Она долго стояла, не двигаясь, глядя на выкошенное место. Не испытанная еще тоска сдавила ее девичье сердце: вот если бы она была замужем, то-то спорая пошла бы работа.

Когда Даренка вечером пришла с косой на плече к балагану, старая Арина с какой-то особенной ласковостью посмотрела на нее и даже поправила выбившиеся из-под красного платка светло-русые волосы. Когда их глаза встретились, девушка поняла, что мать жалеет ее, и это еще больше защемило ее сердце. Ночью Даренка тихонько плакала, не зная о чем, а старик Мирон лежал и думал:

«Пожалел Никешка девку... Тоже вот поди: шалый, а пожалел».

Наступила осень. Сивая кобыла опять бродила по улицам Чумляцкого завода на полнейшей свободе: значит, Морок был дома, и его голова торчала из окна избушки.

Было ясное осеннее утро. Земля, скованная первым морозом, звонко гудела под ногами. Издали было слышно, как катились телеги. Никешка сидел на своем посту и ждал, когда загудит на фабрике проклятый свисток. Он сидел в новой ситцевой рубахе, включенные волосы были намазаны коровьим маслом, и вообще в Никешке случилась перемена. В доме Еграньки Ковшова происходило какое-то таинственное движение, и из-за косяков мелькали любопытные лица, а Никешка все сидел, поджидая свисток.

— Ишь, тварина, где-то наелась-таки! — вслух удивился Морок, когда в конце улицы показалась сивая кобыла, направлявшаяся домой. — То-то дошла скотина!..

Приближавшийся топот невидимых ног заставил Никешку оглянуться на противоположный конец улицы: там, от кабака Пимки,

медленно подвигалась целая толпа народа. Морок сразу узнал старосту, старика Мирона и понятых. Все шли не торопясь и остановились у избы Мирона. Вышла на улицу старуха Арина и запричитала, указывая на избушку Морока. Понятые смущенно молчали и только переминались на месте, как стадо овец, наткнувшееся на волчье логовище. Потом староста перешел на другую сторону улицы, и все сгрудились у избы Ковшова. В окне высунулась голова самого Еграньки и закричала:

— Что вы на его смотрите: тащите в волюсть — вот и весь сказ! Не больно важное кушанье. Да горячих ему залепить, да в карц, да опять горячих, да...

— Оно, конечно, следует, — соглашался староста, поглядывая на избу Никешки. — Даже весьма следует... гм... да... Не впервой... то есть три шкуры спустить... Прежде сапоги да коней воровал, а теперь... да...

— Берите его! — орал Егранька, входя в азарт. — Прямо за волосы волоките!.. Катай его!..

Эти вопли не производили надлежащего действия на толпу: мужики переминались,

подталкивали друг друга и вообще не решались приступить к действию. Решительный момент наступил, когда к толпе присоединились чахоточный синельщик Илья и чеботарь Калина. Под их предводительством толпа отделилась от избы Ковшова и через улицу направилась к избушке Морока. А Никешка все сидел в окне и с спокойствием записного философа ждал, что из всего этого произойдет.

— Бей его... катай!.. — орал Егранька, перебегая от окна к окну. — Бери...

Не доходя несколько шагов до избушки, толпа остановилась. Наступил новый момент нерешительности, пока староста не приступил к исполнению своих прямых обязанностей.

— Мы к тебе пришли, Морок...

— Вижу.

— Ну, так ты уж того... да... Айда в холодную! Прежде сапоги воровал, а теперь девку чужую увел... Подавай Даренку, а сам айда в волость.

— Ну нет, брат, шабаш! — закричал Морок, показывая в окно кулак. — У Даренки свои

ноги есть, а я шабаш... Будет!

— Никешка, дьявол, тебе добром говорят!

Подбежавшая к окну старуха Арина хотела было схватить Морока прямо за бороду, но тот уклонился. Поднялся сразу страшный гвалт, — все кричали, ругались, показывали кулаки. Общественная нравственность была оскорблена и требовала отмщения. Главное, женатый мужик увел девку, да еще и увел у суседа, — это было невозможно... Даренка действительно сидела в избушке Морока, бледная, перепуганная, плохо сознававшая, что происходило около нее. Она слышала только вопли матери и не смела шевельнуться. Что им нужно?.. Даренка ушла к пропащему человеку Никешке потому, что это был единственный человек, который ее пожалел. На фабрике она переходила с рук на руки, как пущенная в оборот монета, и везде было одно и то же: ее сначала заманивали, дарили что-нибудь для первого раза, напаивали водкой, а потом следовали побои, издевательства и позор. У одного Никешки нашлось для нее теплое, ласковое слово, и она пришла к нему: он такой сильный и не даст никому в обиду. Ей,

как уличной собаке, так немного было нужно...

А Морок стоял у окна, выпрямившись во весь свой рост, и ждал приступа с спокойствием решившегося на все человека. О, он теперь не дастся им живой в руки и Даренку не даст: пусть попробуют!.. Дверь была заперта на задвижку, и, чтобы попасть в избу, нужно было ее выломать. Чья-то рука уже пробовала ее, и Никешка закричал не своим голосом:

— Не подходи... убью!

Этого было достаточно, и в окно полетели камни, поленья и куски замерзшей грязи. Подслеповатые зеленые стекла вылетели с жалобным звоном, а переплет гнилых рам представлял собой плохую защиту. Из избушки в ответ на эту канонаду полетели какие-то черепки и целые кирпичи. Толпа, встретив такой ожесточенный отпор, отступила, и опять наступило затишье.

— Никешка, говорю тебе добром: выходи... — попробовал еще раз староста усостить разбойника. — Хуже будет.

— Убью!.. — ревел Никешка, бросая из ок-

на досками от развороченных полатей. — Не
подходи...

— Валяй его! — орал через улицу Егранька,
бегая у своей избы.

Староста снял шапку, почесал затылок и,
повернувшись спиной к избушке Морока,
проговорил:

— Ребята, пойдете домой!

1888 [1]

Примечания

Впервые опубликован в газете «Русские ведомости», 1888, No№ 215 и 218, от 6 и 9 августа. При жизни писателя включался во все издания «Сибирских рассказов». Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», М., 1902.

Рукопись хранится в Свердловском областном архиве.

Морок в диалектных говорах означает «шалун, баламут, повеса». Очерк рядом своих мотивов перекликается с другими произведениями Мамина-Сибиряка: «Озорник», «Сестры», «На шихане» и др.

[^^^]